

ИЗ РУКОПИСИ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Публикация Г. С. Померанца

В томе 83 «Литературного наследства» «Неизданный Достоевский» опубликованы материалы записных тетрадей к «Дневнику писателя» 1876 г. Это — первоначальный этап работы Достоевского над «Дневником». Следующий этап — связанная черновая рукопись нескольких выпусков «Дневника» за январь, февраль, апрель, июнь — август, сентябрь, октябрь 1876 г. (хранится в ЛБ). Текст рукописи в целом совпадает с опубликованным. Но при тщательном сличении рукописного текста с напечатанным нам удалось выявить отрывки, иногда довольно значительные, которые в печать не попали. Нередко эти части текста перечеркивались самим автором здесь же в рукописи, но иногда кушеры, по-видимому, производились при переписывании начисто или уже в наборном экземпляре.

Многие исключенные отрывки посвящены политическим вопросам, из них мы публикуем только законченную главу о петербургском баден-баденстве, снятую по требованию цензуры.

Встречаются также ненапечатанные фрагменты литературного и философского характера. Наиболее значительные из них: о встрече с семьей Герцена, о романе «Подросток», о «Дворянском гнезде», о Некрасове (единственный отрывок, взятый нами из рукописи «Дневника» 1877 г.).

«О «ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ»»

Кстати сказать, вся эта «плеяда» (40-годов) вся вместе взятая, на мой взгляд, безмерно ниже по таланту и силам своим двух предшествовавших им гениев, Пушкина и Гоголя. Тем не менее, «Дворянское гнездо» Тургенева есть произведение вечное [и принадлежит всемирной литературе, — почему?]. Потому что тут сбылся впервые, с необыкновенным постижением и законченностью, пророческий сон всех поэтов наших и всех страдающих мыслию русских людей, гадающих о будущем, сон — слияние оторвавшегося общества русского с душою и силой народной. Хоть в литературе, да сбылся. Тургенев и во всех произведениях своих брался за этот тип, но портил, везде портил и добился цели лишь в «Дворянском гнезде». Вся поэтическая мысль этого произведения заключена в образе простодушного, сильного духом и телом, кроткого и тихого человека, честного и целомудренного, в ближайшем кровном столкновении со всем нравственно грязным, изломанным, фальшивым, наносным, заимствованным и оторвавшимся от правды народной. От того безмерное страдание, но и не мщение. Кроткий человек не мстит, проходит мимо, но примириться со злом и сделать хоть малейшую нравственную уступку ему в душе своей он не может. [Страдания его не описываются, но вы чувствуете их всем сердцем своим, потому что страдаете ведь и вы] Сцена свидания этого несчастного с другою несчастной в отдаленном монастыре потрясает душу [страданием и глубоким впечатлением навеки] [Кто бы вы ни были, если уже вы раз почувствовали и это чувство] впечатлением, впечатлением безмерно для вас плодотворным. Ибо вы догадываетесь под конец, что весь этот герой и [вся красота] тип его — есть всего только народ, тип народный, вы это чувствуете и понимаете всем сердцем вашим, а потому неволь-

* Над текстом зачеркнуто: в шесть или восемь строк

О. МИЛЛЕР
«СЛАВЯНСТВО И ЕВРОПА»
(СПб., 1877)

С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
АВТОРА А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ:

«А. Г. Достоевской в знак глубокого
уважения от автора»

Титульный лист. Книга не сохранилась

Архив Института литературы
АН УССР, Киев



но и хотя бы даже бессознательно преклоняетесь перед правдой народной, так сказать, принуждены преклониться. [Вот высшая польза искусства! А главное тут пророчество возможности соединения с народом.] Уж меня-то не заподозрят в лести г-ну Ив. Тургеневу; выставил же я это произведение его, потому что считаю эту поэму из всех поэм всей русской литературы самым высшим оправданием правды и красоты народной]. Выставил же я произведение г. Тургенева и потому еще, что г. Ив. Тургенев, сколько известно, один из самых [ярых] односторонних западников по убеждениям своим и представил нам позднее дрянной и глупенький тип Потугина, с любовью нарисованный, олицетворяющий собою идеал ненавистника России сороковых годов и народа русского, со всею ограниченностью сороковых годов, разумеется. Об этом Потугине я еще поговорю, конечно потом, потому что об литературе русской надо говорить умеренно. И пусть извинят меня, что я теперь заговорил о литературе, [но ведь] я лишь по поводу народа.

ЛБ, ф. 93.1.2. 10, стр. 23.

Отрывок впервые был приведен А. С. Долининым с многочисленными пропусками и неточностями, обедняющими смысл текста Достоевского («Ученые записки» Ленинградского Гос. пед. ин-та, 1940, т. IV, вып. 2, стр. 316—317).

Восторженный отзыв о «Дворянском гнезде» написан в период ожесточенной полемики с Тургеневым, взгляды которого Достоевский отождествлял со взглядами Потугина. Это противоречие не было для Достоевского чем-то неосознанным. Наоборот, он использует его, чтобы подчеркнуть принципиальный характер своей вражды к «потугинской», т. е. западнической идеологии, а не к лицам. Тургенев, по мнению Достоевского, потерял свой талант, когда стал пользоваться им для пропаганды западнических идей.

Но об «Отцах и детях» и особенно о «Дворянском гнезде» Достоевский всегда отзывался с большой похвалой.

〈О «ПОДРОСТКЕ»〉

Мне все это хотелось схватить [но я впрочем]... Я однако взял не серединную, а уединенную душу. Я не знаю, понятно ли [у меня] вышло. Иные, кажется, поняли. Но главный будущий роман мой будет гораздо яснее, полнее и непосредственнее, как говорили у нас при Белинском. [Я отсюда вижу и... надеюсь. Что же? Кому запрещено надеяться?] Кому же не запрещено надеяться?*

... Что лучше. Это он лично сам должен решить без всякого руководства. Он добр и великодушен, но безмерно ценит свое великодушие и рискует им в своих глазах непрерывно. Он обижен с детства и знает это, хотя знает до страдания, что и сам виноват. У него несколько тяжелых воспоминаний — о своей незаконнорожденности, о смешном ** социальном положении своем, о посещении матери, которую он оскорбил, о встрече с законным братом своим. Душа его наполнена ядом, и он уединился еще с самого первого сознания один и мало-помалу составил колоссальный и уродливый проект жизни в отмщение людям. В то же время у него страстное желание любить и он сознает, что он никогда и никому не захочет отмщать. [Кто-то из рецензентов думал] Некоторые приняли, что я хотел выставить влияние денег на молодую душу, но у меня цель была [и шире и глубже] обширнее. Как юный русский, он, разумеется, составив величавый проект свой, тотчас же отложил его исполнение. Довольно того, что он хранит его в тайне как исход во всяком худом случае и в тишине любитесь им и лелеет его в душе своей, особенно при каждой новой «обиде» судьбы. А обиды остаются, а ему так хочется нюхнуть жизни. Он как любовник гоняется за мнимым отцом своим и хочет покорить его душу. Он хочет непременно, чтоб у него просили прощения все, для того чтоб тотчас же простить всех и любить вечно, неотразимо, страстно. И в то же время у него адский проект. У него документ, тут красавица, тут возможность господства над нею, деспотизма и...

ЛБ, ф. 93. I. 2. 10, стр. 5.

Отрывок занимает в рукописи большую часть листа. Множество помарок, вставок и перестановок делают чтение в некоторых случаях только предположительным. Чувствуется, что мысль Достоевского, совершенно ясная для него в своих истоках (это подтверждает твердый, уверенный почерк первых строк), в процессе записи начала разворачиваться настолько стремительно, с неожиданным богатством оттенков, что некоторые слова второях остаются недописанными.

Достоевский не смог удержаться от полемики с «некоторыми», увидевшими в романе только один важный вопрос — о власти денег. Оспаривая это, он сжато, но ярко раскрывает свой гораздо более глубокий замысел.

Слово «некоторые» заменило первоначально написанное: «кто-то из рецензентов думал...». Кого именно из рецензентов Достоевский имел в виду, трудно сказать. В первых главах романа идея Подростка — статья Ротшильдом — разъясняется очень подробно; и так как роман печатался частями, то не было ни одного газетного фельетониста, который не оказался бы под впечатлением этого и не подчеркнул бы «идеи» в своем отзыве.

В. М. (В. В. Марков), писавший в «С.-Петербургских ведомостях», даже сожалел впоследствии, что Достоевский, введя в роман множество лиц и эпизодов (по мнению этого критика, второстепенных), отвлекся от главной темы и оставил ее нераскрытой (1875, № 272). А Новый Критик, т. е. И. А. Куцевский (газета «Новости»), статьи которого выделяются своим редким для фельетонистов 1870-х годов пониманием Достоевского, — признался, что сам он приехал в Петербург с такой же идеей, как Подросток, твердя про себя стихи Некрасова:

Да, сорок лет минуло времени —
В кармане моем миллион.

* Весь абзац — на полях.

** Над строкой: безобразном

Это откровенное признание талантливого молодого писателя, умершего год спустя в нищете, само по себе интересно. Но никаких документальных указаний на то, что Достоевский был знаком со статьями Кушевского, мы не нашли. Кроме того, Кушевский сразу уловил готовность Подростка отойти от абстрактной юношеской идеи во имя других, духовных, ценностей. Это совпадало с авторским толкованием романа.

Можно отметить еще отзыв Заурядного читателя (А. М. Скабичевского) в «Биржевых ведомостях» (1875, № 35), где «идея» уделяется две трети конкретного анализа романа (если отвлечься от того, что большая часть статьи наполнена общими, водянистыми и поверхностными рассуждениями о Достоевском как писателе).

Судя по записным книжкам, в которых много раз упоминается В. Г. Авсеенко, Достоевский был особенно задет его статьей («Русский мир», 1875, № 27). Но об «идее» Авсеенко говорит сравнительно мало. Он подобрал высказывания Подростка, которые позволяют судить об известных эротических аномалиях в его психике, и на этом основании бросает Достоевскому обвинение в порнографии. Достоевский не мог прямо отвечать: с точки зрения приличий XIX в. порядочный человек унизил бы себя, приняв обвинение Авсеенко всерьез; только позднее на Западе эротические психозы стали материалом фрейдистского литературоведения. Авсеенко можно было ответить только косвенно, минуя главный пункт его статьи. Но всякая полемика с рецензентами в защиту своего романа была в то время не принята. Видимо, поэтому Достоевский — в кого бы он ни метил — в конце концов опустил публикуемый отрывок.

〈О САМОУБИЙСТВЕ ДОЧЕРИ ГЕРЦЕНА〉

Эта молодая девица, написавшая такую шикарную записку в последнюю минуту своей жизни, была вторая дочь Герцена. Первая дочь его Наталья [любимая дочь его], которую он обожал, сошла с ума еще при его жизни¹, и это было для него страшным ударом. Эту Наталью Герцен я встречал раза два-три, последний раз в 63-м году, на пароходе из Неаполя в Геную. Она была очень грустна. Мне случилось с ней проговорить тогда целый час... [она] грустила об отце, о том, что в России все от него отвернулось, считают его изменником России (это был год польского восстания). Она не вдавалась передо мною в защиту его, не объясняла его убеждений — она видимо принадлежала к тем женщинам, которые более живут сердцем, чувством и не заботятся о том, чтобы хвалили их ум и развитие. Мне она всегда казалась чрезвычайно симпатичным существом, которое вряд ли совпадает с окружающей ее резкой и предвзятой обстановкой, в которой никак не мог воцариться порядок. Одним словом, жизнь всей этой семьи была странная и не по силам этой молодой душе, находившей отзвук себе лишь в сердце отца, ее обожавшего. Когда я узнал об ее помешательстве, меня почему-то не удивило это. Вторую же дочь Герцена, самоубийцу, я видел лишь однажды и именно в это же путешествие и на другой день у них за обедом в Генуе. Ей было тогда лет одиннадцать или двенадцать, но я резко ее запомнил. (Полагаю, что это была она, т. е. самоубийца, потому что у Герцена, сколько я помню, было только две дочери и сын.) Это был довольно грациозный ребенок, за столом она несколько капризилась, помню за ней очень ухаживали, после обеда она пошла и легла на кровать под предлогом, что у ней разболелась голова. Но однако ж простилась со мной смеясь и пожелала еще раз непременно увидеться. Когда я узнал о ее самоубийстве, а теперь прочел ее записку — странная мысль мне запала в голову. Мне вдруг показалось, что она должна была истребить себя именно из-за простоты и прямолинейности жизни, которую унаследовала в родительском доме.

Заметьте — это дочь Герцена, человека высокоталантливого, мыслителя и поэта. Правда, жизнь его была чрезвычайно беспорядочна, полная противоречивых и странных психологических явлений. Это был один из самых [замкнувшихся] резких русских раскольников западного толку, но зато из самых широких и с [совершенно] некоторыми вполне уж русскими чертами характера. Право, не думаю, чтобы кто-нибудь из его европейских друзей (из тех, кто потоньше и поумнее) решился бы признать его вполне своим, европейцем, до того сохранял он всегда на себе чисто рус-

ский облик и следы русского духа — его, обожателя Европы. И вот (думается и представляется невольно) неужели даже такой одаренный человек не мог передать от себя этой самоубийце ничего в ее душу [кроме холодного мрака] из своей страстной любви к жизни — к жизни, которую он так дорожил и высоко ценил и в которую так глубоко верил. Эта такая шикарная предсмертная записка от дочери такого человека необыкновенно примечательна. Убеждений своего покойного отца [и], его стремлений, веры в них — у ней, конечно, не было и быть не могло, иначе она не истребила бы себя. Немыслимо и представить даже себе, чтоб такой страстный *верующий* Герцен мог убить себя. С другой стороны, сомнений нет, она возросла [вне всякого вопроса о боге] в полном материализме, даже, может быть, вопрос этот о духовном начале души и не пошевелился [в душе ее] в уме ее во всю жизнь, но все равно, но* дочь Герцена все-таки должна была быть существом [одухотворенным], почти непременно имеющим хоть понятия о чем-нибудь высшем, чем бутылка клико, — и вдруг такое предсмертное прощание с жизнью. В этом гадком, грубом шике, по моему, слышится вызов, может быть, негодование, злоба — и... Но злоба на что же? На пустоту представляющегося, на бессодержательность жизни? Это как бы судьи и отрицатели жизни, негодующие на глупость появления человека на земле, на [насмешливую] бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которой нельзя помириться? Слышится душа, возмущившаяся против «прямолинейности» явлений, не вынесшая этой «прямолинейности», сообщавшейся в доме отца ее душе с детства. Но если так, то эта самоубийца-мыслитель. А между тем она, выросшая в полном материализме, [она] пишет: *Je m'en vais entreprendre un long voyage* (предпринимаю долгое путешествие) — фраза, написанная, конечно, бессознательно и именно показывающая, что она и не задумывалась о вечной жизни [если б задумывалась и в чем-нибудь сомневалась, то не написала бы]. А между тем эта фраза написалась. Таким образом, уже это одно могло бы свидетельствовать о грубости натуры самоубийцы, о том, что в ней не тайлось мыслителя. Но грубые натуры истребляют себя самоубийством лишь от материальной, внешней, данной причины, а по записке видно, что у нее не было такой причины. Что же это такое?

[Но что] безобразнее всего — то, что она, конечно, умерла безо всяких волнительных вопросов, безо всяких сомнений. Сомнение и мучение от сомнения не посещало отчетливо эту молодую душу. Умерла от холодного мрака и скуки, вот и все. В прямолинейности [сообщенных ей невольно взглядов, она и не сомнева<лась>] всего представлявшегося ей она была, конечно, совершенно убеждена [но прямолинейность-то эта, эта-то замкнутость духовная и убила ее] бессознательно, а перенести ее не могла. И вот, что для отца было жизнью и источником [жизни] мысли и сознания, то для дочери обратилось в смерть.

Скука. Слишком душно и глупо жить. Вроде того как бы воздуху не достало. И рядом с этим неуважением к жизни (клико) — последняя мнительная, болезненная забота о том, чтобы ее не похоронили мертвую.

Одним словом, холод и мрак окружающего, слишком уже упрощенные взгляды на жизнь и бытие передались уже ей с пеленок. Душа не вынесла такой простоты** и потребовала чего-нибудь более сложного. Но не сознательно потребовала [сознание мучения облегчает мучение] [а просто стало противно и тошно], а стало просто противно и тошно. Ничтожность переданного душе ее мира, [прямолинейность] невозможность что-нибудь в нем уважать. Существо, замученное бессознательно. Оттого и такая записка.

* Над строкой: общий дух.

** Над строкой: материализма.

ЛБ, ф. 93.1.2, стр. 148, 150.

Публикуемый отрывок сжат в печатном тексте до размеров одного абзаца (XI, 423—424). Все упоминания о Герцене опущены. Взамен введена новая глава — «Приговор».

Тема этой главы была подсказана Достоевскому письмом Победоносцева 3 июня 1876 г. (см. публикацию Л. П. Гроссмана «Достоевский и правительственные круги 70-х годов». — «Лит. наследство», т. 15, 1934, стр. 130—131).

Лиза Герцен, покончившая с собой в 1875 г., была дочерью Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой. В 1863 г., к которому относятся воспоминания Достоевского, ей было 5 лет. Совершенно очевидно, что Достоевский видел не ее, а как он сам говорит — «вторую дочь Герцена», т. е. Ольгу Герцен (род. в 1850 г.).

¹ Имеется в виду нервное заболевание, которое Н. А. Герцен перенесла в 1869 г.

НЕЧТО О ПЕТЕРБУРГСКОМ БАДЕН-БАДЕНСТВЕ

Стал читать и попал как раз в «Биржевых ведомостях» на брань за мой июньский «Дневник». Впрочем не на брань, статья написана довольно мило, но не очень. Фельетонист, г. Б.¹ ужасно подшучивает надо мной, хотя и вежливо, но свысока, за то, что я насажал парадоксов, «взял Константинополь». «Итак, Константинополь уже взят, — говорит он, — как-то странно, волшебным, но взят. Мы и в войне-то не участвовали, но он все-таки нам принадлежит единственно потому, что принадлежать должен». Но, милостивый г. Б., ведь это вы все сами сочинили: я вовсе не брал Константинополя в нынешнюю войну, «в которой мы и не участвовали», я говорил, что это сбудется *во времени*, и прибавил только, что, может быть, в скором времени, и кто знает, может быть, я ведь и не ошибся. И не виноват ведь я, что ваш взгляд на Россию и на ее назначение сузился подюонец в Петербурге до размеров какого-нибудь Баден-Бадена или даже фюрстентум Нассау, в котором теперь сижу и пишу это. Вы вот думаете, что будет все один Петербург продолжаться. Уж и теперь начинается местами протест провинциальной печати против Петербурга (да и не против Петербурга вовсе, а против вас же, усевшихся в Петербурге и в нем обособившихся) — и которая хочет что-то там сказать у себя новое. Так ведь что вы думаете, может, и скажет, когда перестанет сердиться, а теперь, правда, еще гнев мешает. Идея о Константинополе и о будущем восточного вопроса так, как я ее изложил, — есть идея старая, и вовсе не славянофилами сочиненная. И не старая даже, а *древняя* русская историческая идея, а потому реальная, а не фантастическая, и началась она с Ивана III. Кто же виноват, что у вас теперь везде и во всем Баден-Баден. Я ведь не про вас одного говорю; если б шло дело про вас одного, я бы не заговорил, но в Петербурге и мимо вас много завелось баден-баденства. Я понимаю, что вас так шокировало. Это будущее предназначение России в семье народов, об котором я заключил словами: «вот как я понимаю русское предназначение в его идеале». Вас это раздражило. Будущее, близкое будущее человечества полно страшных вопросов. Самые передовые умы, наши и в Европе, согласились давно уже, что мы стоим накануне «последней развязки». И вот вы стыдитесь того, что и Россия может принять участие в этой развязке, стыдитесь даже и предположения, что Россия осмелится сказать свое новое слово в общечеловеческом деле. Но вам это стыд, а для нас это вера. И даже то вера, что она скажет не только собственное, но, может, и окончательное слово. Да этому должен, обязан верить каждый русский, если он член великой нации и великого союза людей, если, наконец, он член великой семьи человеческой. Вам дико, что я осмелился предположить, что в народных началах России и в ее православии (под которым я подразумеваю *идею*, не изменяя, однако же, ему вовсе) заключаются залогов того, что Россия может сказать слово живой жизни и в грядущем человечестве? И что вы говорите о славянофилах;

их надобно знать, чтоб говорить о них. А кто об них теперь знает? Все больше понаслышке и по старой памяти. У нас теперь многое люди забыли и давно уже многому разучились, хотя ни во что не переучились. У меня большая ошибка в том, что я начал прямо с конца, сказал результат, последнее слово моей веры. Беда до конца высказываться. Вот вы и глумитесь: «Ах, дескать, об этом все стыдятся говорить, а он говорит; осмелеть его!» Недоговаривать лучше и выгоднее. Все писать, все намекать и никогда не высказываться: этим можно снискать большое уважение, даже можно, не имея ни одной мысли, прослыть мыслителем. Да я-то этого не хочу. Меня упрекнут, я знаю это, мои же читатели за то, что «отвечаю на критику», как уже и упрекали не раз. Но ведь это не одному ответ, а многим. Тут факт. Не ответить, так отметить его все-таки надо.

Глава публикуется по копии, сделанной для набора рукой А. Г. Достоевской и хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 212, оп. 1, ед. хр. 155). Печатание главы было запрещено цензурой. Автограф в ЛБ, ф. 93.1.2.

¹ Б. («Буква») — псевдоним сотрудника «Биржевых ведомостей» И. Ф. Василевского, напечатавшего фельетон в № 182 этой газеты, 4 июля 1876 г.

После нескольких оговорок о таланте Достоевского он подвергает резкой критике не только взгляды его, но и стиль, сравнивая его со стилем анабаптистского проповедника, «между прочим, в интервалах своей речи стреляющего, для вящего эффекта, из маленькой пушки, помещенной под кафедрой, — оглушительно, громко, втиевато и очень мало понятно!»

〈СУДЬБА КОРНИЛОВОЙ И ЕЕ РЕБЕНКА〉

... Во-первых, сколько я понимаю, но следуя *простым* путем, которым пошло дело, матери дадут разродиться [в остроге] до ссылки, не сошлют раньше этого. Затем, так как ведь никак уж нельзя сослать вместе с нею в Сибирь и младенца, то младенца у нее возьмут и отдадут отцу: таким образом в «лишение всех гражданских прав состояния» войдет и лишение естественных прав матери. Это бы ничего, но лишение всех прав состояния матери включает и лишение права младенцу иметь мать... А, впрочем, я опять за то же, хотел было смотреть просто, а все спотыкаюсь. Далее: Если ребенка отдадут отцу (кому иначе? [разве в Воспитательный дом, но вряд ли отец отдаст], то ведь его надобно вскормить [между тем отец крест(ьянин)], и уж неужели матери и вскормить-то ребенка не дадут? А между тем где он его вскормит?

Но отдадут ли ей вскормить?

— Нет это уж стало бы похоже на насмешку.

— Да и где ей кормить.

— Эх, я законов-то не знаю. Направят в Воспитательный *.

Конечно, в таком случае он поступит на прокормление в Воспитательный дом. Я даже так думаю, что все такие с виду необыкновенные вещи на деле обделываются самым обыкновенным и до неприличия прозаическим образом.

С нашим народом никогда поэмы не будет. Это самый прозаический народ в мире... Стыдно нашего народа **.

Но для удовлетворения этих лживых людей

Мцыри

Давать ли?

И не попрекнули бы друг друга, или так только немножко, себя жалеючи.

* Но отдадут ~ в Воспитательный — на полях.

** Здесь и далее — наброски на полях.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. МЕЙЕРА
К РАССКАЗУ
«МАЛЬЧИК У ХРИСТА
НА ЕЛКЕ»

Страница издания на чешском языке
(Прага, 1923)

ho tak boli pestičky, dal se do pláče a utíkal dále, a tu opět vidí jiným oknem pokoj, opět tam jsou stromy, ale na stolech jsou koláče, včelíjaké — mandlové, červené, žluté, a sedí tam čtyři bohaté paní, a kdo přijde, tomu dají koláče, a otvírají se dveře co chvíle, přichází k nim z ulice mnoho pánův. —

Chlapec se připlížil, znenadání otevřel dveře a vešel. — Och, jak tu na něho začali křičeti a mávati! Jedna paní přistoupila rychle a vsunula mu do ruky kopěječku, a sama mu otevřela dveře na ulici. Jak se polekal! Ako-pěječka ihned se mu vykulila a zazvonila po stupních: nemohl



Попробуйте описать это в повести, слово в слово, черту за чертой и... а, впрочем, что ж я! Говорю: ничего не выйдет, а меж тем, может быть, выйдет и лучше даже всех [этих] поэм наших и романов с героями с раздвоенною жизнью и высшим презрением. Сколько теплоты, сколько самого естеств[енно] противоположного с нашими вымышленными формами жизни, сколько самого фантастического отражения действительности, самого непростого обнаруживается.

Конечно, все это будет дело мужицкое, простонародное, но ведь уж совсем фа<нтастическое>.

Даже, знаете ли, может быть, оно вышло бы вовсе и не так просто. Я так думаю даже, что простого вовсе и нет на свете. Правда, повили бы над ней, когда проводили, а потом бы и стерпелось. Он человек рабочий, некогда и думать-то, а она... А она двадцатилетняя женщина [мать и жена] без мужа [и с ребенком], мать, у которой отняли первенца ребенка и которого, может быть, очень, именно в противоположность поступку с падчерицей, в какие-нибудь несколько часов успеет страстно полюбить. Она пойдет в каторгу и пойдет в партии. Я не знаю, как теперь, но прежде они шли партиями, человек по две и три сотни, по этапам, и шли в Сибирь месяцев восемь, и хоть женщины и мужчины особо, но в партии, я знаю это, можно сообщаться, особенно если деньги есть. Тут происходили романы. Я слышал об ревностях, убийствах и все [дорогой] между этими преступниками. Но заметьте, что эти семь-восемь месяцев тяжелого, каторжного пути не считают за каторгу. Каторга, т. е. те 2 года 8 месяцев, на которые приговорили, начнутся ей только тогда, когда она прибудет на место, да и то бывают варьянты. Я, например, и покойный Сергей Федоров Дуров, с которым меня привезли (политических возят с фельдъегерем) в Омск в каторгу в январе, после четырех лет каторги, когда пришел наш четырехлетний срок, выпущены были из каторги не в январе,

а в конце марта ¹, так что мы прожили в каторге два с 1/2 месяца лишних и проработали, единственно потому, что писарь [вздумал у нас] забыл нас занести в книгу своевременно, а хватился пометить наше прибытие лишь два с половиной месяца спустя. Это факт. Удивительно, как это было все тогда просто. Но я не про то, я про ту женщину. А впрочем, что ж, что про нее говорить. Одно слово, ее жизнь только что *началась*, она еще из каторги выйдет молодая и...

Видите ли, решительно оно не так просто. Решительно можно составить целый роман. А впрочем, что же я. А уж хотите, так может самую полную и величавую поэму* даже из этого происхождения с Корниловой составить, самую европейскую и удовлетворяющую самому строгому европейскому вкусу. Вы только представьте себе этого ребенка во время дела родившегося. Вырост(ет) — узнает все про мать и пойдет отыск(ивать) мать. Написан же Мцыри, а тут тема-то получше. Само собою надо, чтоб он как-нибудь в барский дом, ну хоть принят из человеколюбия так, чтоб воспитался вместе с барчонком и вдруг — не хочу, дескать, с вами, хочу, дескать, демократических стремлений, пойду мать отыскивать, и все это в стихах, в таких стихах, что не <1 нрзбр>.

Выйдет значит целая поэма. А впрочем я смеюсь: обойдется все наимпростейшим манером и мальчик вырастет, будет извозчиком, и к французу-гувернеру в барский дом не попадет, и сам женится, и жену прибьет. [Жизнь так пряма, так прозаична, право, лучше смотреть...]

ЛБ, ф. 93. I.2.10, стр. 144, 146.

Отрывок прибавляет несколько новых черт к тому, что мы уже знаем об отношении Достоевского к делу Корниловой из «Дневника», и дает замечательную картину связи нравственного чувства, мировоззрения и творческого воображения писателя.

Внимание Достоевского остановила заметка в два столбца в газете «Биржевые ведомости», 17 октября 1876 г. Репортер сухо, но добросовестно изложил дело, не сглаживая некоторых недочетов в ходе судебного следствия. Видно, что, во-первых, свидетели резко расходятся в оценке характера подсудимой; во-вторых, предположение врача о возможности аффекта, вызванного беременностью, не было учтено. Но эти факты не слишком колют глаза; врач на своем предположении не настаивал, а разброд в показаниях свидетелей — дело обычное. Факт покушения на убийство ребенка слишком все перевешивает. Вчувствоваться в незначительные детали, разрушающие образ преступной мачехи, и создать другой, гораздо более сложный и человеческий, мог только писатель, которого простое объяснение преступления всегда отталкивало, и воображение которого искало, за что зацепиться, чтобы разрушить мнимую простоту факта, как будто вполне подходящего под соответствующую статью уголовного кодекса. (Правда при самом первом известии о преступлении Корниловой Достоевский резко осудил ее — см. XI, 296—297.)

Картина складывается в воображении Достоевского до всякого знакомства с людьми и обстоятельствами дела. Только тогда, когда глава «Дневника» была написана и напечатана, Достоевский узнает адрес Корнилова и навещает его, а потом и подсудимую (что каждый человек, больше верящий фактам, чем своему воображению, сделал бы в первую очередь).

Новые впечатления только подтвердили, по словам Достоевского, его догадку (см. письмо Масленникову 5 ноября 1876 г. — «Письма», т. III, стр. 249—251). Между тем это не совсем так. В «Дневнике» Достоевский с симпатией рисует мужа Корниловой, а тюремная надзирательница А. П. Бореина (которой Достоевский вообще очень доверял) говорила, что «муж ее вовсе не стоит, он туп и бессердечен, и что будто Корнилова два раза посылала просить прийти и он *наконец-то* пришел» (там же, стр. 251). Слово «будто» вставлено не случайно: Достоевский не хочет факта, который разрушает созданный им образ, и тут же приводит слова Корниловой, что муж прийдя, плакал над ней. Но, разумеется, одно другого не опровергает.

* Первоначально следовал вариант I, замененный вариантом II и затем — окончательным.

⟨Вариант I :⟩... то чего вам лучше: написал же Лермонтов Мцыри, а тут ведь побогаче. Вырастает сын, узнает про мать, и пойдет ее отыскивать в Сибирь, какие чувства.

⟨Вариант II :⟩ то чего вам лучше; можно даже напредставить себе так, что этот мальчик, выкормленный в Воспитательном доме, а потом у отца, выросши и узнав все про мать, пойдет ее отыскивать в Сибирь. Ведь написал же Лермонтов Мцыри, а тут тема побогаче, чем у Мцыри.

Нет никаких оснований не верить Борейше. Корнилов был, по-видимому, человек по-своему справедливый, но сухой и упрямый, тяжелый резонер и начетчик. Вряд ли он был подходящим мужем для своей жены, годившейся ему в дочери. И жизнь с ним была несладкой для молодой женщины — как до тюрьмы, так и после нее. Вскоре она умерла. Сохранилось письмо об этом:

«Милостивый государь Федор Михайлович. Асмеливаюсь вас уведомить, что известная вам Катерина Прокофьевна Корнилова приказала долго жить, скончалась 6-го числа июня в 10-ть часов утра. Погребение будет в четверг, т. е. 8 числа на Митрофановском кладбище. Скончалась у себя на квартире. Известный вам Степан Корнилов. 6 июня 1878 года в 6 часов вечера писано» (ЛБ, ф. 93. П. 6. 123).

Таким образом, идиллия семейной жизни Корниловых после оправдания, назначенная в «Дневнике», не осуществилась в жизни.

¹ Ошибка памяти Достоевского: он был освобожден из каторги не в конце марта, а примерно 15 февраля; в письме 22 февраля 1854 г. он сообщает, что уже неделю как вышел на волю («Письма», I, стр. 133).

〈О НЕКРАСОВЕ〉

Тютчев — не оставил такого горячего следа, как Некрасов, не был симпатичен <? >

И я понял, что он составлял нечто в жизни моей, хотя мы редко — —

Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, и потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все те выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее. Но новейшие критики и публицисты, кажется, рассуждают не так и кричат правдой, желая подладиться к молодежи.

Умаление Пушкина, как древнего и архаически преданного народу, — почти бесчестно.

Но в этих мотивах звучит такая любовь и такая оценка народа, которая принадлежит ему вековечно, всегда и теперь... Увижу ли народ освобожденный и рабство, павшее по манию царя, разговор с Николаем, письма Пушкина, мужеств<енный> человек.

Юношам, если только вы говорили юношам, следует учиться, а не учить других.

Байронизм, малосведущий и даже в самой сущности темы, на которую стал говорить.

Байронизм был великое служение человечеству.

Во всяком случае Некрасов после Пушкина. Не было бы совсем Некрасова. В Некрасове ошибки. — Убийение французов — позор.

У Лермонтова любовь к солдату.

На жатве неря<пливо> перевязывать грудь, точно народ виноват в своих привычках и обычаях, приобретенных в рабстве, народ не мог быть виноват за свое рабство. Таких ошибок Пушкин не сделал бы.

Некрасов мог ошибаться в народе и во все те мгновения, когда его не мучило раскаяние [и когда он подходил к народу свысока].

Представителем искусства для искусства в самом пошлом понимании этого выражения. И не только в самом пошлом, но и подлом. Ночью плачу о народе, а на утро ставлю <? > кабак!

Огарев, кабаки, но однако проверить бы. А сколько добра он сделал? Что же, скажете вы, тоже хотите оправдать Некрасова, не то же ли самое делаете, что Скабичевск^{ий}. Совсем не то, неправда есть неправда, дурное есть дурное, порок есть порок и с этим никогда нельзя примириться, по мы-то, судьи-то, лучше мы его в самом-то деле, имеем ли мы право камень поднять. Ведь если и не сделали кое-чего, то не по чистоте нашей, а по трусости, что, дескать, скажут [у Некрасова в самом подлом виде, забор, что бы ни говорили, золотом выложен <?>, а потому добывай только золото]. —

На парижскую чернь, о подвигах которой он вычитал раз на всю жизнь в томах Тьера и Рабо —

Некрасов был искусства высочайший представитель.

А между тем это было не так, потому что Некрасов был воистину *начальник горя народного*. Не извиняйте же его ухищрениями.

Самое главное спасение в том, чтобы прибегнуть к правде полной. Примем же Некрасова вполне тем, каким он был в самом деле.

Весь вопрос сводится на то, был ли он искренен.

Выкупил ли он искренностью — конечно, нет, был честным.

Удовлетворяли ли его мгновения раскаяния? Это его дело. По-нашему, страдание должно быть сильнее по мере падения, и если он удовлетворялся мгновениями и плутовал сам с собой, и говорил такие фразы, что без *практичности* я бы не удержал «Современник», то тем больше и жгучее должен был страдать после этого от презрения к самому себе, и страдал наверно и был наверно судьей себе неумолимым.

Но мы имеем ли право быть твоими судьями?

Сами, страсти наши, не так много смеем, как Некрасов.

(и тут: оправдываю ли я Некрасова — нет, несколько).

Он не прав—это незыблемо. Но и мы-то, святые ли.—Эти две вещи—друг друга не оправдывают, а лишь на нас налагают обязанности.

Признал правду народную. Человек, который мог до такой силы возвыситься, не мог быть только... и заказным поэтом.

В воспоминаниях Сергея Аксакова звучит несравненно больше правды народной, чем в Некрасове, хотя Аксаков говорит почти только о природе русской.

— *Здесь главное*. К тому же я ведь больше для *наших*, чем для ваших писал. Я наших хотел бы научить *Некрасову*, а не ваших нашему взгляду на народ, нашему взгляду преклонения перед правдой народной, а не высокомерному обмериванию его с нашей просвещенной и гуманной высоты.

Потому что Некрасов есть редкое, замечательное и необыкновенно крупное явление.

Надо бы проверить. Правда, даже ближайшие к нему уже в печати говорят про то утвердительно, стало быть, нашли нужным поспешить, чтобы предупредить других, хотя никто еще и не нападал из противной стороны. Правда, они подтверждают темные стороны с тем, чтобы оправдать, но как они их оправдывают? Скабичевск^{кий}, Сувор^{ин} одно говорили...

Конечно, во всяком случае лучше не говорить, но я пришел к убеждению, что выяснить личность

... что мы робели там, где Некрасов не робел и не останавливался, и что демон, мучивший его, был сильнее, чем наши бесенята.

Она выразилась и в песнях западных славян, хотя касалась только славян, а не русского народа.

Исход из байронизма.

Оправдывать? Ни за что. Я только ставлю обвиняемого и противников друг перед другом и оставляю обвинителей с собственной совестью.

Если б даже было и доказано, что мы и не можем быть лучше, то этим вовсе мы не оправданы, потому что вздор все это: мы можем и должны быть лучше.

Извинение не есть оправдание. В извинении кроется для извиняемого даже нечто унижительное.

До широты объема и понимания народного духа ему до Пушкина далеко. Некрасов видел лишь страдания * народа, да дурные черты его (от страдания). Но он просмотрел красоту народа, его милосердие, мужество, трезвость душевную [спасение Мезенцева], чувство государственное и необычайное собственное достоинство после освобождения от рабства. Проповедовали, что он раб, и даже неприятно были изумлены, увидев его столь свободным. Не поверили красоте его. Теперь подъем духа. До этого не доросли, исковерканные дрянным европейничаньем. Недоросли и нельзя поднять до понимания России. Не доросли мы все ни до Пушкина, ни до России, ни до народа. Не хотят преклониться перед правдой, учителя народа. Долой! Но в том и дело, что Некрасов, если не умственно, то как поэт, в страдании своем признал народную правду и преклонился перед нею. Тем только он и дорог, а не как учитель народа.

Юношам надо учиться, а не учить других. А учителям к ним не подмазываться. Это трезвое слово требует подтверждения **. Как вы думаете, вы-то вот этого не скажете, а я-то вот сказал.

Может быть и есть несколько стихотворений *фальшивых*, даже есть наверно.

Вы прививаете к ним дух непогрешимости, дух самодовольствия, а стало быть и деспотизма. Не жившему совсем на свете так легко принять свечку за солнце.

[И давая] Отнимая у них суть жизни и давая им, взамен их, такие ничьи блага, которыми не выманишь и собаку из подворотни, по выражению одного современного птенца.

Вот почему я ставлю Некрасова так высоко.

Гражданином быть обязан. Это его тяготило.

Западники. Они не могли не соединиться с Европой против народа русского. И с кем стало быть они соединились?
(С Валуевым).

Главное тут:

Надо бы проверить и главное: это рыдание и битье о помост находилось ли в *спокойном* состоянии, т. е. ночью рыдание, а завтра шампанское, кабаки и стишки, или находилось в постоянном состоянии муки и усилия выбиться (добро ли было, исповедь скрыта, гордо возвещал о слезах, зачем не [скит] Иоанн Печерский?)

* Над строкой: правду его.

** В автографе: повержения.

У народа будет мысль: такой-то русский *барин* плакал горючими слезами и ничего лучше не придумал как (стать *народом*), хотя и не стал по легкомыслию своему и по разврату. Вот настоящая правда! Но народ это простит, народ будет шире нашего суда.

Добрым был. Г. Суворин уже сказал словечко. Скажут и другие, и я уверен в том. Я хочу быть в том уверенным.

Что они проводили симпатичнейшего из наших поэтов в могилу — это хорошо и благородно, но если поверят, что они, не учась, учены и что они-то и есть русские критики, то уж это будет дурно. А ну как они вам не поверят. Тогда ведь над вами же будут смеяться, а, может, еще хуже того.

Бессмертной и недостижимой <высоты?>

Некрасов. Он даже писал и обличения-то наобум. Множество<?> ужасно подделанного.

Но стихотворения бессмертной красоты.

Слабое образование (при огромном, впрочем, уме), сделало то, что <...> Белинского.

Будущий характер был романиста.

Барин из тех, которые не признавали [верили в] народ, даже любя его, — были даже врагами народа [печальными, не предумышленными, бессознательными. Но они желали часто народу то, что несомненно служило ему к погибели].

ЛБ, ф. 93. I.2.13, стр. 283.

Наброски, из которых выросла глава о смерти Некрасова (в декабрьском выпуске «Днегника» 1877 г.), возникли в непосредственной связи со статьей А. М. Скабичевского, опубликованной в «Биржевых ведомостях» (1878, № 6, 6 января). Статья эта (в серия «Мысли по поводу текущей литературы» — «Николай Алексеевич Некрасов как человек, поэт и редактор») содержит ряд положений, которые Достоевский упоминает и пытается опровергнуть.

Скабичевский начинает статью обращением к молодежи:

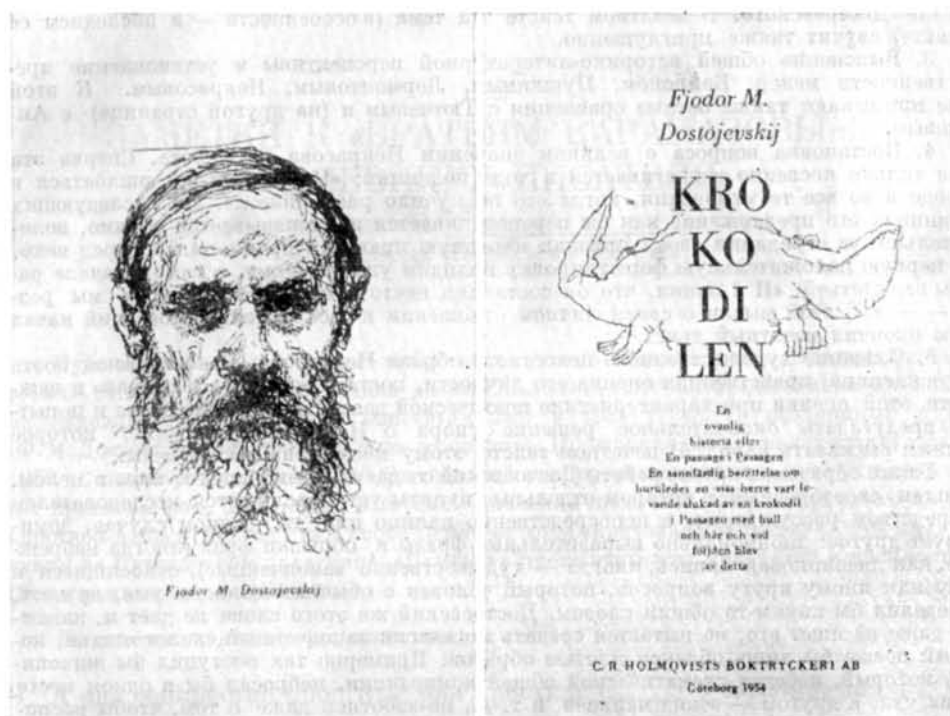
«Желая положить со своей стороны прощальный венок на могилу Н. А. Некрасова, к вам, молодые друзья мои, обращаю я речь свою, да, исключительно к вам одним, потому что для всех остальных я считаю речь свою совершенно излишнею и ненужною. Эти все остальные успели составить о Н. А. Некрасове вполне определенные и твердые понятия, и с этих понятий их не сдвинуть никакими силами...»

Тезис Скабичевского о неспособности старшего поколения понять творчество поэта Достоевский оспаривает каждым словом написанной им главы.

Далее в статье Скабичевского читаем: «И потому я решился обратиться исключительно к вам, мои молодые друзья, — тем более, что вы успели уже за меня ответить на те вышеупомянутые ошибки и заблуждения. Вы ответили на них тем, что, не колеблясь, избрали девизом для венков, несенных впереди гроба, высокое и лестное для каждого поэта название „поэта народных страданий“, тем, что носили гроб поэта на плечах своих до самой могилы, как вы давно уже никого не носили из русских писателей, и тем, наконец, что когда кто-то на могиле поэта вздумал сравнивать имя его с именами Пушкина и Лермонтова, вы все в один голос хором прокричали: „он был выше, выше их...“»

Противоречия в характере Некрасова Скабичевский объясняет по шаблону: (влияние на поэта «традиционных привычек» (крепостничества) было не так велико, чтобы совершенно исказить «идеи», но достаточным, чтобы удерживать от согласования идей с поступками. Достоевский, в противоположность этому, полемически подчеркивает противоречия *буржуазного общества* («Миллион — вот демон Некрасова!»).

Достоевский критикует чересчур прямолинейное одобрение Скабичевским того факта, что Некрасов, по его словам, решил «обеспечить себя какими бы то ни было средствами и на почве этого обеспечения развивать свой талант». В этом вопросе Скабичевский повторяет Суворина, высказавшего ту же мысль более подробно (и не в такой грубой форме) в своих «Недельных очерках и картинках» («Новое время», 1877, № 662; перепеч. в сб. «На память о Н. А. Некрасове». СПб., 1878, стр. 53—55. Характеристика личности Некрасова — на стр. 40—44).



ПОВЕСТЬ «КРОКОДИЛ» («НЕОБЫКНОВЕННОЕ СОБЫТИЕ,
ИЛИ ПАССАЖ В ПАССАЖЕ»)

Фронтиспис и титульный лист издания на исландском языке (Гетеборг, 1954)

Пolemический тон набросков вступил, по-видимому, в противоречие с материалом и тоном надгробной речи, произнесенной Достоевским под непосредственным впечатлением смерти поэта и еще не стершейся из памяти. Поэтому очень скоро Достоевский сознает увлечение полемикой как чрезмерное, мешающее повторить и развернуть шире в печати то главное, что, по его мнению, нужно было сказать о самом Некрасове, оставляя Скабичевского, Суворина и всех остальных в стороне. Уже на второй странице набросков читаем: «Я наших хотел бы научить *Некрасову*, а не наших нашему взгляду на народ...» Это напоминание самому себе остается, в пределах набросков, безрезультатным — вырваться из полемической колеи было не так легко. Заданный тон вел Достоевского дальше, не давая свернуть. Поворот был сделан только при переходе от набросков к связанному тексту, который и по мысли, и по тону представляет собой сплав двух элементов: «некрологического» и полемического.

Детальный анализ набросков может отчасти показать, как подготовлялся этот поворот.

На первый взгляд, перед нами ряд записей, не связанных друг с другом и резко различных по форме: то это законченные афоризмы, то беглые записи мыслей, в которых некоторые слова берутся самим автором в скобки как неточные; то части фраз — начала или концы еще не написанных предложений. Но в этом хаосе есть своя система. Выделим основные темы:

1. Четко написанный афоризм: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа...» — это вступление, дающее тон главе в целом, и в то же время зачин одной из ее главных тем — полемики со Скабичевским и Сувориным. При изменении направления главы афоризм, сам по себе превосходный, остался в стороне. Он выдвигал полемикой на первый план — а задачей Достоевского было подчинить ее объективному, по мере его сил, анализу поэзии и личности Некрасова. Прямые выпады против Скабичевского также были отброшены. Poleмика в печатном тексте развивается приглушенно.

2. Превосходство Пушкина сравнительно с Некрасовым (и как поэта, и как человека): глубокая народность Пушкина, его гражданское мужество и т. д. С другой стороны, резко подчеркиваются те черты творчества Некрасова, которые оттал-

кивали Достоевского. В печатном тексте эта тема (в особенности — в последнем ее аспекте) звучит также приглушенно.

3. Выяснение общей историко-литературной перспективы и установление преемственности между Байроном, Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым. К этой теме примыкают также беглые сравнения с Тютчевым и (на другой странице) с Аксаковым.

4. Постановка вопроса о великом значении Некрасова как поэта. Сперва эта тема только косвенно затрагивается в ходе полемики: «Некрасов мог ошибаться в народе и во все те мгновения, когда его не мучило раскаяние...». На последующих страницах это предложение как бы переворачивается и высказывается прямо, положительно: «в страдании своем признал народную правду и преклонился перед нею». Но первую положительную формулировку находим уже на полях в самом начале работы над статьей: «И я понял, что он составлял нечто в жизни моей, хотя мы редко — —». С этой мысли о своем личном отношении к Некрасову Достоевский начал и ею окончил печатный текст.

5. Создание художественного целостного образа Некрасова как человека, поэта и гражданина, нравственная оценка его личности, постановка вопроса о праве и важности этой оценки при характеристике поэтической деятельности Некрасова и попытка предугадать окончательное решение спора о Некрасове, решение, которое должен высказать народ. В печатном тексте этому посвящена часть главы.

Таким образом, в начале работы Достоевский создает план-конспект главы в целом, но план своеобразный, в котором отдельные пункты устанавливаются исследователем посредством рассуждения, а непосредственно налицо или, во всяком случае, доминирует другое: эмоционально выразительные фразы и обрывки фраз (иногда небрежные, как дневниковая запись, иногда — художественно законченные), относящиеся к тому или иному кругу вопросов, который человек с обычным складом ума, не поэт, определил бы каким-то общим словом. Достоевский же этого слова не дает и, кажется, даже не ищет его, не пытается создать логически законченный скелет статьи, который позже бы лишь облекся плотью образов. Примерно так поступил бы живописец, который, избегая схематической общей композиции, набросал бы в одном месте эскиз уха, в другом — эскиз пальцев и т. д., не заботясь даже о том, чтобы расположить эти наброски на полотне в известном порядке: целое остается, до поры до времени только в сознании художника.